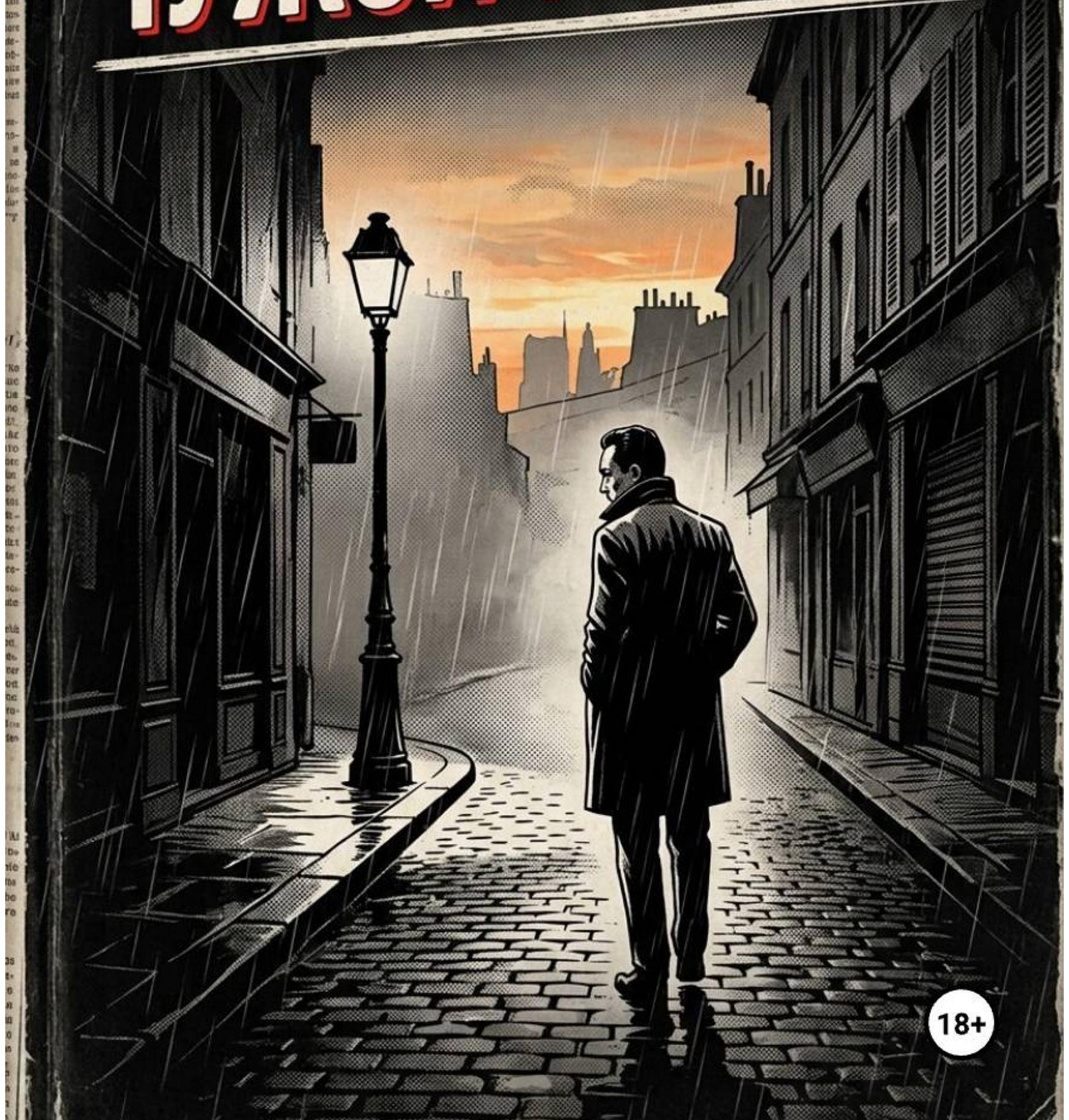


Е. БЕЛЯКОВ

ЧУЖОЙ РАССВЕТ



18+

Е. Бе́ляков

Чужой рассвет

«Автор»

2026

Беляков Е.

Чужой рассвет / Е. Беляков — «Автор», 2026

Писатель из Алжира отправляется в Париж, попрощаться с умирающим от рака лёгких бывшим другом. Внимание! В этой повести использованы реальные исторические персоналии в альтернативно-историческом сеттинге. Автор максимально уважительно относится к обоим и постарался воссоздать их альтернативные биографии на основе их реальных взглядов с поправкой на иной ход истории. Если вы полагаете подобное недопустимым, воздержитесь от чтения этой книги. Сеттинг антологии, хронология Второй мировой войны и её итоги значительно отличаются от реальной истории. Для понимания происходящего не требуется дополнительных материалов, но при желании можно ознакомиться с "Библией мира", где детально описан сеттинг.

© Беляков Е., 2026

© Автор, 2026

Е. Беляков

Чужой рассвет

Письмо я достал из ящика в четверг, хотя мог не доставать ещё неделю — почту я вынимал редко, только когда набиралась стопка, которую уже неловко было оставлять. В пору моей юности я ждал писем. Теперь — нет. Теперь каждый конверт был либо счётом, либо приглашением на мероприятие, куда я не поеду, либо запоздалым отзывом на книгу, которую я уже сам успел возненавидеть. Я вскрывал их без нетерпения.



Этот конверт был хуже прочих — плотный, с парижским штемпелем, подписанный от руки. Почерк я узнал не сразу, но узнал. Он изменился. Когда-то Жан-Поль писал размашисто, с наклоном вперёд, словно слова бежали в будущее быстрее, чем перо могло их догнать. Теперь буквы стояли по отдельности, каждая на своём месте, дрожащие, точно их выводили с остановками — рука уставала. Я читал и видел эту руку.

«Альбер, мне остались последние дни. Я должен тебя увидеть. Приезжай, пока я могу говорить. Жан-Поль».

Пятнадцать слов. Он всегда был многословен, мой бывший друг. Многословен и уверен, что истина нуждается в развёрнутом обосновании. Теперь — пятнадцать слов, и ни одного лишнего. Болезнь учит краткости, как учит ей только море.

Я не простил его в те годы. Я и сейчас не был уверен, что простил. Но между обидой и отказом умирающему — расстояние, которое не покрыть никакой философией. Это вопрос не морали даже, а чего-то более простого, почти телесного — как не убрать руку от огня, как не наклониться к пьющему, который просит воды. Можно сколько угодно рассуждать о том, заслуживает ли он воды, — но жажда не знает заслуг, и ты либо наклоняешься, либо отводишь глаза. Я не хотел отводить глаза. Я устал отводить глаза.

Я перевернул конверт, проверяя, нет ли внутри ещё чего-то, — нет, только этот листок, только эти пятнадцать слов. Адрес больницы был написан на конверте. Больше ничего и не нужно. Он знал, что я приеду. Он знал меня достаточно хорошо, чтобы не прилагать к письму ни денег, ни объяснений. Деньги — моя забота.

С деньгами было скверно. Не просто скверно — хуже, чем когда-либо за последние десять лет. Издатель задерживал выплаты уже третий месяц, журналы брали мои статьи неохотно, а те, что брали, — платили ровно столько, чтобы не умереть с голоду. Поездка в метрополию для человека из Алжира — всегда предприятие, почти экспедиция. Я сидел у себя в комнате, над бухгалтерской книгой, которая была мне отвратительна самой своей необходимостью, и складывал цифры. Сбережения — те, что я прятал в жестяной коробке из-под чая за книгами, — были смехотворны. Я пересчитал дважды. Потом вытряхнул мелочь из пальто, из ящика стола, из старого портфеля. Когда я закончил, на столе лежала сумма, которой хватало в обрез: билет третьего класса на пароход до Марселя и железнодорожный от Марселя до Парижа, ещё немного сверху. На обратную дорогу могло и не хватить. О ней я подумаю позже, когда обратная дорога станет необходимостью, — если станет.

Третий класс — это неудобство, но не унижение. Унижение было бы в том, чтобы просить у кого-то взаймы, объяснять, почему и зачем я еду к человеку, с которым прервал отношения много лет назад. Этого я не умел и не собирался учиться. Каюта с попутчиком — незнакомым человеком, который будет храпеть или, хуже того, захочет говорить, — казалась мне ценой, которую я готов заплатить. Запах машинного масла, железнодорожная копоть, многочасовая тряска на деревянной скамье — со всем этим моё тело было знакомо. Оно помнило санитарный фургон, помнило дороги, которые никуда не вели, помнило запах бензина и крови. Третий класс Алжир-Марсель был почти роскошью по сравнению с тем, что моё тело уже знало.

Я сложил деньги в старый кошелек, а его — во внутренний карман пиджака. Письмо я перечитал ещё раз и положил туда же, к деньгам, чтобы они лежали вместе — его слова и цена этих слов. Потом я вышел на балкон. Море лежало передо мной, как всегда, — ровное, безучастное, не предлагающее никаких ответов. Я стоял и курил, глядя на него, и думал о том, что человек, с которым мы когда-то верили в одни и те же вещи, умирает в Париже, а я считаю мелочь, чтобы поехать к нему. В этом не было трагедии. В этом была только правда — та самая, которую мы оба искали, и которая оказалась невыносимо простой.

Пароход шёл до Марселя чуть больше полутора суток. За это время мы с Андре Моро успели прожить целую жизнь — из тех, что существуют только в дороге, а по прибытии рассыпаются, как высохшая глина. Разговоров было не то чтобы много. Они были длинными, с перерывами на сон, на молчание, на еду. И каждый начинался с того места, на котором оборвался предыдущий.

Первый случился ещё вечером, когда мы только устроились и пароход отошёл от причала. Моро достал из мешка хлеб, овечий сыр и флягу с вином — дешёвым, терпким, но настоящим.

— Вы, кажется, из Алжира, — сказал он, протягивая мне кусок сыра на ломте хлеба. Это был не вопрос, а узнавание. Так окликают земляка.

— Из Алжира. Белькур.

— Хамма, — он кивнул с тем особым выражением, которое бывает у людей, знающих карту города не по названиям улиц, а по запахам. — Один и тот же квартал, только моя улица была грязнее. Теперь живу в пригороде Парижа. Меня зовут Андре Моро.

— Альбер.

Я пожал ему руку — сильную, крепкую, без лишнего усилия. Он устроился на своей койке, закинул руки за голову и, казалось, приготовился к долгому разговору. Так бывает в дороге: чужие люди выкладывают себя полностью, зная, что через два дня разойдутся и никогда больше не увидят друг друга. В этом есть особая честность. Исповедь незнакомцу ничего не стоит и потому бывает самой правдивой.

— Я строитель, — сказал он. — Дороги, мосты, электростанции. Работал в Марокко, на Французском Берегу, в Индокитае. Теперь вот возвращаюсь из Адена. А вы? Чем занимаетесь? — спросил он без церемоний.

— Пишу. Статьи, книги.

— Писатель. — Он кивнул без подобострастия и без насмешки. — О чём пишете?

— О том, что вижу.

— Тогда у вас работы хватает. Я вот тоже много чего вижу. Только я не пишу, я кладу кабель в землю. Иногда — при сорокаградусной жаре. Иногда — под муссонным ливнем, когда глина превращается в кашу и засасывает технику по самые оси. Но это детали.

— Что вы строили в Адене?

— Электростанцию. Хорошая станция, на три турбины. Когда я приехал, там была одна, старая, ещё британской постройки. Сейчас — одна из самых современных.

— И как там?

— Вы знаете, отлично, — сказал он просто. — Дороги, электричество, больница, школы. Местные ни в чём не нуждаются. Их дети учатся читать, считать, чертить. Женщины рожают в больнице, а не на грязном полу.

Он отхлебнул из фляги и протянул её мне. Я взял. Вино обожгло горло, но согрело лучше всяких слов. Моро приложился сам, поставил флягу на хлипкий складной стол и посмотрел на меня внимательнее — не настороженно, а оценивая, готов ли я слушать.



— А вот за пределами Адена — независимый Северный Йемен. И вот там, мой друг, ничего этого нет. Там феодализм такой, какой Европа забыла ещё в Средние века. Я стоял на границе протектората — а это просто колючая проволока и пост, даже не стена — и смотрел на север. Тридцать километров. Разрыв в тысячу лет. Деревни, где имам судит за воровство, отрубая руку, и никто не задаёт вопросов.

— И вы считаете, что протекторат — это решение?

— А вы бы предпочли другое? — Он усмехнулся, но без злобы. — Я не политик. Я кладу кабель в землю при сорокаградусной жаре и слежу, чтобы местные рабочие не калечились. Но я вижу результат. В Северном Йемене мальчик будет пасти коз, как его прадед. В Адене он

может выучиться на электрика и будет зарабатывать деньги, кормить семью, его дети пойдут в школу. Вот и весь выбор.

— Выбор, который сделали за него.

— А вы думаете, он бы отказался? Из Северного Йемена все пытаются сбежать, но я не видел никого, кто хотел бы туда. Руссо придумал «естественного человека», — он усмехнулся. — Сидел в Женеве, в тепле и сытости, и писал про природную доброту. Я вам так скажу: Руссо никогда не был в Йемене. Благородный дикарь, когда ему нечего есть, продаёт свою дочь. И никакой естественной нравственности у него нет. Есть голод. Есть страх. То, что уже забыли в Адене, как страшный сон.

— Позвольте, Руссо говорил не о дикости, а о досоциальной невинности, — возразил я. — Северный Йемен — это тоже общество со своими правилами. Что до Адена, сегодня метрополия строит там дороги и школы. Завтра она может решить, что школ достаточно. Послезавтра — что дороги пойдут в другом направлении, туда, куда выгодно метрополии, а не местным. Вы даёте человеку образование, но не даёте возможности выбирать судьбу. Вы лечите его тело, но не его достоинство.

— Достоинство, — повторил он, пробуя слово на вкус. — Это важно. Я понимаю. Но я скажу вам, что я видел: в Адене араб учится работать на бульдозере. Он ошибается — я ему показываю. Он запоминает. Через год он уже сам учит новичков. Он стоит прямо, он смотрит в глаза, он получает деньги за работу. Это не про достоинство?

— Это про достоинство в пределах отведённой ему роли. Он может стать мастером, но не начальником участка. Он может обучить новичков, но не может решить, где строить следующую станцию. Ему дали лестницу, но потолок оставили на месте.

Моро замолчал. Он не спорил — он думал. Я видел это по тому, как он вертел в пальцах хлебный мякиш, не замечая, что крошит его на одеяло.

— Может быть, — сказал он наконец, и голос его стал тише. — Может быть, вы правы насчет потолка. Но если завтра в Йемене умрет девочка от разорвавшегося аппендикса... — Он поднял глаза, и в них стояла та самая, знакомая мне до боли человеческая мука. — Вы сможете посмотреть ее матери в глаза и сказать, что вы уважали достоинство ее ребенка?

Я не ответил. За иллюминатором шумело море — равнодушное, огромное, не знающее ни аппендиксита, ни справедливости. Ответа у меня не было. У меня никогда не было ответов, которые могли бы утешить.

Моро допил вино. Я отказался. Мы легли на свои койки, каждый в свою темноту, и долго слушали, как тяжелые волны бьются о борт парохода.

Утром пароход миновал Сицилию. Моро стоял на палубе, облокотившись на поручень, и смотрел на далёкую полоску берега — белую, почти призрачную в утренней дымке. Я вышел покурить и встал рядом.

— Вы спрашивали вчера про выбор, — сказал он, не поворачивая головы. — Про то, что мы решаем за них.

— Да.

— Вы слышали про Египет?

— Разумеется.

— Ну вот и сами посудите. — Он наконец повернулся ко мне. — Британия дала Египту независимость. Они требовали независимости, боролись за неё, — они её получили. Со своим королём, со своим парламентом, со своим флагом. Британия согласилась с освободительным движением, она ушла сама. Знаете, что из этого вышло?

Он достал сигарету, прикурил, затянулся — и продолжал, глядя на море:

— Через тридцать восемь лет они приползли обратно. Буквально. Три месяца назад. Король Египта подал официальное прошение о реставрации протектората. Вы понимаете? Они получили то, о чём вы говорите, — право решать самим. И они поняли, что сами не справ-

ляются. Казна пуста, Суэцкий канал работает вполсилы, в провинциях бесчинствуют местные князьки, нет ни одной безопасной дороги, и армия не может навести порядок, потому что офицеры грызутся за посты, а солдатам не платили по полгода.

— И вы хотите знать, что я думаю об этом, Андре? — отозвался я. — Я думаю, что это не торжество колониальной идеи. Это двойной позор. Сначала британцы бросили их без подготовки, без постепенной передачи власти, без настоящего партнёрства, а теперь мы забираем обратно под крыло и называем это благодеянием.

— Бросили? — Моро нахмурился. — Альбер, им дали тридцать восемь лет. Это не пять минут. За тридцать восемь лет можно было вырастить поколение, которое умеет управлять. Они этого не смогли. «Равным — равное, неравным — неравное» — вот истинный голос справедливости.

— Да, не смогли! — резко ответил я, чувствуя, как внутри поднимается горячая, почти ликующая горечь. — А были ли у них эти годы? Британцы всё равно контролировали страну до сорок шестого, а потом резко ушли. А чему учили тех, кто остался? Быть клерками в собственной стране! Нельзя сначала отказать в равенстве, а потом удивляться, что они не умеют быть равными. Это не провал египтян! — я почти выкрикнул это, вцепившись в поручень, глядя, как нос парохода режет серую воду. — Это провал наш, Андре. Наш общий. Провал воображения. Мы не смогли представить их равными. Поэтому и ушли, оставив после себя пустоту. А пустоту заполняет не свобода. Пустоту заполняет хаос.

— Я понимаю, о чём вы, — он пожал плечами, — но результат один: они сами просят нас вернуться. И что нам с этим делать? Сказать им: «Нет, ребята, вы свободны, умирайте лучше с голоду, но свободными»? Это будет справедливо?

— Это будет честно, — я пожал плечами. — А честность — не всегда то же самое, что справедливость. Но если мы вернёмся сейчас, мы вернёмся не как партнёры, а как хозяева. И через двадцать лет они снова захотят независимости — но теперь с ещё большей ненавистью. Потому что одно дело, когда ты просишь о помощи, и другое — когда тебе одним своим видом напоминают, что ты беспомощен.

— Вы странный человек, — сказал Моро. — Вы признаёте, что независимость обернулась катастрофой, но всё равно настаиваете, что она лучше протектората.

— Ничуть. Я не говорю, что она лучше. Я говорю, что протекторат — это не решение проблемы, а отсрочка. Я не защищаю ни тех, кто бросил Египет на произвол судьбы, ни тех, кто теперь с радостью наденет на него старый ошейник. Должен быть третий путь. Путь, на котором мы не уходим и не возвращаемся как хозяева, а остаёмся — как партнёры. Если Египет просит помощи — дадим ему помощь. Но не протекторат. Дадим инженеров, учителей, экономистов. Создадим союз, а не военную администрацию. Поможем советом, а не приказом. Не отнимем у них право на ошибку, потому что только через ошибки учатся ходить. И через десять, двадцать, тридцать лет они встанут на ноги — уже по-настоящему. Не как подопечные, а как союзники. Это трудно, Андре. Гораздо труднее, чем просто властвовать или просто уйти. Но, возможно, только этот путь оставляет человеку шанс.

Моро швырнул окурок в море. Вода приняла его беззвучно.

— Может быть, — сказал он. — Вот только Конфедерация никогда на это не пойдёт. Зачем ей это? И сами египтяне — вы уверены, что им самим это нужно? Они просят восстановить протекторат.

— Я думаю, они его получают, — сказал я. — И никто не спросит ни меня, ни вас. Но мы должны честно признать: это не выбор и не свобода. И не называть это благодеянием. Может быть, и путь, который я предлагаю, закончился бы поражением. История редко вознаграждает тех, кто пытается сохранить меру. Но если отказаться и от него, останутся только две возможности — господствовать или бросить. И обе я принять не могу.

На этом второй разговор закончился. Мы стояли на палубе, пока берег Сицилии не растаял в дымке. Где-то впереди была Сардиния, за ней — Марсель.

Третий разговор случился поздно вечером, когда мы уже миновали Корсику и пароход шёл к французскому берегу. Моро лежал на койке, закинув руки за голову, и смотрел в низкий потолок каюты.

— Вы говорили позавчера про потолок, — сказал он. — Про то, что мы даём лестницу, но оставляем потолок на месте. Я думал об этом.

— И что надумали?

— Что вы правы. Потолок есть. — Он говорил медленно, подбирая слова. — Но потолок — это не навсегда. Я сам учил парня в Адене. Через год он работал сам. Ещё через год он учил других. Возможно, когда-нибудь он будет учить меня — если я доживу. Это же не стоит на месте.

— Но он всё равно не станет вашим руководителем.

— А должен?

— Если он способен — да. Иначе его способности не имеют значения. Иначе всё, что вы ему дали, — это красивая клетка.

— Клетка! — Он рывком сел на койке. — Послушайте. Когда я кладу кабель в землю, я строю для них будущее. Я не увижу, что вырастет из этой электростанции через тридцать лет. Но она будет стоять. И дети, которые сейчас учатся читать при её свете, — они будут тоже. Даже Милль, которого трудно назвать врагом свободы, признавал: для менее развитых обществ необходима сильная централизованная власть, и цивилизованные люди имеют нравственный долг взять на себя роль такого «просвещённого деспота», чтобы подтолкнуть отстающие народы к развитию.

— Человек не должен жить внутри порядка, происхождение которого для него навсегда закрыто. Вы дали ему хлеб. Но вы не дали ему права сесть за общий стол.

— Может быть, он ещё не готов сидеть за общим столом?

— Кто это решает? Вы? По какому праву?

— По праву того, кто построил этот стол! — Он почти крикнул это, но тут же осёкся, помолчал и добавил тише: — Извините. Я не хотел кричать.

— Ничего.

— Но вы поймите, — продолжал он. — Я не плантатор. Я работаю руками. Я просто кладу кабель, чтобы у них был свет. Вы, писатели, любите слова. Право, партнёрство, достоинство, свобода. А я скажу вам, что жизнь заключена не в прокламациях, а в том, горит ли свет в операционной, и есть ли сама операционная. Это малое. То самое малое, в котором заключена жизнь! Когда я вижу, что свет есть, а в тридцати километрах — продают девятилетних девочек в гарем, я не могу сказать, что я делаю что-то плохое.

— Я и не говорю, что вы делаете что-то плохое. Вы даёте им больницы и школы, но вы не даёте им права голоса при решении, куда пойдут дороги. Вы говорите им: «Я построил для тебя дом». А они спрашивают: «Почему ты решил, что мне нужен именно этот дом, а не право построить свой собственный?» — и в этом вопросе они правы. Но я не знаю ответа, Андре. Я не знаю, как дать им право строить, не разрушив всё, что уже построено. Это тупик.

Моро долго молчал. Пароход мерно качало. Где-то далеко, в ночи, мерцал огонь маяка — должно быть, уже французского.

— Вы странный писатель, — сказал он наконец. — Вы будто сами в это верите, но при этом знаете, что это ничего не изменит.

— Я верю, — сказал я. — Но вера — это не знание. Я верю, что человек имеет право выбирать. И я знаю, что чаще всего ему не дают этого права. Иногда мне кажется, что я защищаю не людей, а собственное представление о человеке. Не исключено, что через двадцать лет окажется, что правы вы. Но если отказаться от сомнения сейчас, я перестану быть самим собой.

Он не ответил. Через полчаса мы погасили свет.

Утром в иллюминатор ударило солнце — яркое, средиземноморское, но уже не африканское. Пахло рыбой, мазутом и близким берегом. Марсель вырос из моря, как белый костяной гребень.

На причале Моро протянул мне руку.

— Может, ещё увидимся, — сказал он. — В Алжире. Или где-нибудь во Франции. Мир тесен.

— Может быть.

Он закинул вещевой мешок на плечо и шагнул на сходни — широкоплечий, уверенный в своём теле и в своей правоте. Я смотрел ему вслед и думал о том, что он не враг. Он не злодей из моих статей. Его правда проста, как кирпич. И моя правда не отменяет его правды. Она лишь требует задать себе ещё один вопрос. Но этот вопрос он задаст не сейчас. Может быть, вообще никогда.

Я переложил портфель в левую руку и пошёл искать кассу вокзала. Письмо из Парижа лежало во внутреннем кармане. «Приезжай, пока я могу говорить». Жан-Поль умирал. Я вёз ему три дня дороги и правду, которую мы оба знали и не могли высказать уже много лет. Оставалось понять, успею ли я её произнести.

Билет я взял самый дешёвый — сидячий вагон, деревянные скамьи, спинка под прямым углом, не позволяющая забыться даже на четверть часа. На кушеточный я не стал тратить не из скупости, а из арифметики: каждый франк, потраченный на удобство, был франком, которого могло не хватить на обратную дорогу. Обратную дорогу я всё ещё не рассчитал, но знал, что она будет. Всё в этой жизни имеет обратную дорогу, даже если ты не хочешь о ней думать.

Поезд отошёл от Марселя в сумерках. Я занял место у окна — не ради вида, которого всё равно не было в темноте, а ради возможности прислониться головой к холодному стеклу и чувствовать вибрацию состава всем позвоночником. Вагон был набит примерно наполовину: несколько рабочих, едущих в Лион, старуха с корзиной, из которой пахло рыбой, молодой солдат, спящий с открытым ртом. Никто не разговаривал. В дороге третьим классом люди редко разговаривают — они берегут силы.

До Лиона состав тянул паровоз 241Р — длинный, поджарый, с металлическими крыльями по бокам котла, отводящими дым. Паровоз тянет не плавно, а рывками, как человек, который тащит непосильный груз и делает вдох перед каждым усилием. Чух-чух-чух — пауза — чух-чух-чух. Этот ритм знаком каждому, кто ездил на войну или с войны, кто сидел в санитарном фургоне и слушал, как локомотив тащит состав с ранеными через поля, которые ещё недавно были полями боя.

Я попытался читать. В портфеле лежала книга — не моя, чужая, взятая в порту у букиниста за несколько су, — но строчки прыгали перед глазами, не желая складываться в смысл. Тогда я просто закрыл глаза и стал слушать дорогу. Дорога говорит с тобой, если ты даёшь ей время. Она говорит на языке стыков, на котором рельсы передают колёсам всё, что знают о земле: здесь грунт мягкий, здесь каменистый, здесь насыпь осела после дождей, здесь мост, здесь тоннель. В тоннеле звук становится гулким и возвращается к тебе, как будто кто-то идёт следом и повторяет каждую твою мысль с запозданием на долю секунды.

В Лионе — должно быть, около полуночи, я не смотрел на часы — паровоз отцепили. Состав дёрнулся, замер, потом дёрнулся снова уже по-другому. Я понял, что теперь нас тянет электровоз, ещё до того, как выглянул в окно и увидел провода над путями. Движение изменилось: исчезли рывки, исчез паровозный ритм, поезд пошёл ровно, гладко, почти бесшумно, набирая скорость без видимого усилия. Это было красиво и тревожно одновременно — как если бы человека, который тащил тебя на своих плечах, сменила машина, не знающая устало-

сти. Прогресс, подумал я. Мы научились двигаться, не расходуя дыхания. Но дышать от этого легче не стало.

Я вышел в тамбур покурить. В тамбуре было холодно — ночной ветер пробивался сквозь щели в резиновых уплотнителях, — но холод лучше духоты, а духота вагона уже пропиталась запахом рыбы, дешёвого табака и немых тел. Я стоял, прислонившись к стенке, и смотрел в окно на пролетающие огни. Франция ночью — это цепочка огней: одинокая ферма, потом переезд с мигающим сигналом, потом городок, где горят два фонаря на площади и ни одного окна, потом снова темнота. Я думал о том, что каждый из этих огней — чья-то жизнь, чья-то кухня, чья-то бессонница. И никто из этих людей не знает, что мимо них сейчас проезжает человек, который едет к умирающему другу, чтобы сказать ему то, что не мог сказать семнадцать лет. И даже если бы знали — им было бы всё равно. В этом нет трагедии. В этом есть порядок вещей: каждый огонь светит для себя.

Остаток ночи я провёл в полусне — том особом состоянии, когда ты уже не бодрствуешь, но ещё не спишь, и мысли текут без твоего участия. Я видел Алжир, море, лицо матери. Потом видел Жан-Поля — молодого, каким он был в сорок первом, с трубкой в зубах и с той особой манерой говорить, когда каждое предложение звучало так, будто его только что отлили из металла. Он говорил мне что-то, но слов я не разбирал. Потом я увидел Варшаву — город, в котором никогда не был, но который почему-то представлял себе как бесконечный ряд серых зданий с чёрными провалами окон. Потом проснулся.

Было пять утра. За окном тянулись пригороды Парижа — ещё не город, уже не поля: пакгаузы, водокачки, железнодорожные мастерские, первые трамвайные пути. Светало. Небо над Парижем было бледно-розовым, как внутренность раковины. Я никогда не любил Париж, но утро над ним понимал: это город, который просыпается медленно, нехотя, как человек, знающий, что ему предстоит долгий день без особого смысла.

Гар-де-Лион встретил меня гулом, паром и запахом угля, смешанным с запахом круасанов из вокзального буфета. Я сошёл на перрон, разминая затёкшие мышцы. Тело болело — спина, шея, плечи, — но я не привык жаловаться. В конце концов, боль в мышцах была единственным, что напоминало мне о том, что я ещё жив, а не просто перемещаюсь в пространстве, как чемодан, который несут чужие руки.

Было шесть утра. Поезд прибыл по расписанию. У меня был адрес больницы. Я не торопился. Я постоял на перроне, пока толпа не схлынула, потом неторопливо пошёл к выходу.

В информационном бюро на вокзале мне выдали карточку с маршрутом. Человек за стойкой — пожилой мужчина с аккуратной бородкой, — говорил быстро, не глядя на меня, и дважды переспрашивал название больницы. Гюстава Русси, повторил я. Он кивнул, черкнул на листке и пододвинул его ко мне через стойку. Линия семь, направление Мезон Бланш или дальше на юг, до Порт-д'Иври. Там автобус по Насьональ-семь в сторону Вильжюифа, до остановки у больницы Поль-Брусс. Я поблагодарил и вышел на улицу.

Парижское утро встретило меня сырым ветром и запахом нагретого асфальта — дворники уже поливали тротуары из шлангов, и вода стекала в сточные канавки, унося с собой вчерашнюю пыль. Я шёл к метро пешком, хотя мог бы сесть на трамвай, — после ночи в сидячем вагоне телу нужно было движение, чтобы напомнить себе, что оно ещё способно передвигаться по собственной воле, а не только трястись в такт колёсам.

Метро линия семь. Я спустился по лестнице, купил билет у автомата — не без труда, потому что автомат был новый, блестящий, с кнопками, которые требовали определённой последовательности нажатий, — и оказался в длинном сводчатом тоннеле, выложенном белой плиткой. На перроне было немногочисленно в этот час. Поезд подошёл через четыре минуты, с воем и скрежетом, которые здесь, под землёй, казались оглушительными. Я вошёл в вагон и сел на откидное сиденье у двери.

Поезд дёрнулся и ушёл в темноту. За окном мелькали огни, кабели, какие-то трубы — подземный Париж, о котором наземный Париж предпочитает не знать. Я смотрел на своё отражение в тёмном стекле и видел человека, который не спал почти сутки. Глаза ввалились, щетина проступила сильнее обычного, воротник рубашки помялся. Я поправил воротник. Это всё, что я мог сделать для своей внешности, да и этого было достаточно — я ехал не на приём, а умирающим нет дела до твоего воротника.

На Порт-д'Иври я вышел. Поднялся по лестнице на свет. Здесь Париж уже кончился — дальше начинались невысокие дома, склады, пустыри, огороженные сеткой. Остановка автобуса была прямо у выхода из метро. Я сверился с расписанием — ближайший автобус через двадцать минут. Двадцать минут в чужом районе на окраине — не повод для беспокойства, но и не повод для радости.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.